

*Для нее стань самым бойким и хоть шляпу золотую
надевай в угоду ей,
Прыгай выше всех и только сил, конечно, не жалея,
И тогда она воскликнет: «Мальчик в шляпе золотой,
Я хочу, чтобы ты был мой!»*

Томас Парк д'Инвильер

Глава 1

В юные годы, когда я более внимательно воспринимал окружающий меня мир и прислушивался к мнению других людей, отец дал мне совет, к которому я вновь и вновь обращался в течение всей своей жизни.

— Если когда-нибудь тебе захочется кого-то критиковать, — сказал он, — вспомни, что далеко не все люди в мире обладают теми преимуществами, которые дарованы тебе.

Больше он не сказал ничего, однако мы никогда особо с ним не откровенничали, и я понял, что в его словах заключается куда более глубокий смысл. В результате я стал проявлять сдержанность в суждениях. Эта привычка позволяла мне открывать в людях любопытнейшие черты характера и вызывать их расположение. В то же время именно из-за нее я не раз становился жертвой занудливых и прилипчивых субъектов. Люди с нестандартным мышлением быстро подмечают в человеке эту особенность и привязываются к ее обладателю. Поэтому в колледже, помимо своей воли оказавшись хранителем сокровенных тайн весьма сумасбродных и зачастую непредсказуемых людей, я несправедливо прослыл «политиканом». Я вовсе не напрашивался на роль отца-исповедника; заметив, что вот-вот начнутся излияния, я часто делал вид, что хочу спать, что я занят важным делом, или же просто начинал откровенно подтрунивать над собеседником. Причина подоб-

ного моего поведения заключалась в том, что потаенные «откровения» молодых людей или, по крайней мере, форма, в которой они преподносятся, всегда грешат неким скрытым плагиатом или явным искажением или утаиванием фактов. Сдержанность в суждениях несет в себе негасимую надежду на лучшее. Я до сих пор боюсь упустить нечто важное, если забуду — как напыщенно выразился мой отец и как я не менее напыщенно повторяю за ним, — что при рождении люди далеко не в равной мере наделяются способностью следовать нравственным устоям.

Похваставшись, таким образом, своей терпимостью, я должен признать, что она имеет свои пределы. Поведение человека может основываться на различных мотивах — от твердокаменной непоколебимости до слюнтяйского малодушия, однако в какой-то определенный момент мне становится все равно, чем человек руководствуется в своих поступках. Когда я минувшей осенью вернулся с Востока, мне казалось, что я хочу видеть окружающий мир одетым в военную форму и стоящим навытяжку. Меня больше не влекли захватывающие путешествия в потаенные уголки людских душ. Исключением был лишь Гэтсби, чьим именем названа эта книга. Гэтсби, воплощавший все, что я откровенно презирал. Он обладал какой-то непостижимой восприимчивостью, обостренной чувствительностью к тому, что сулила ему жизнь, словно был своего рода сложным сейсмографом, регистрирующим землетрясения на десятки тысяч километров. Эта чуткость не имела ничего общего с напускной впечатлительностью, которую принято возвышенно именовать «артистическим складом характера». Это был выдающийся дар следовать надежде, романтический порыв, которого я никогда ни в ком не встречал и вряд ли когда-нибудь встречу. Нет, в самом конце Гэтсби повел себя достойно. Именно то, что

довлело над ним, та мерзость и низость, пыльным облаком клубившиеся вокруг него и душившие его мечты, — вот что на время заглушило во мне интерес к мелочным людским печалям и сиюминутным восторгам.

Три поколения моей довольно состоятельной семьи жили в городе на Среднем Западе, где снискали себе определенную известность. Семейство Каррауэев представляет собой нечто вроде клана, и, согласно преданию, мы происходим от герцогов Баклю, однако родоначальником моей линии является брат деда, обосновавшийся здесь в 1851 году. Он нанял человека, который вместо него отправился на Гражданскую войну, а сам основал дело по оптовой торговле скобяными изделиями, которым теперь управляет мой отец.

Я никогда не видел этого своего предка, однако полагают, что я на него похож, судя главным образом по довольно реалистичному портрету, который украшает контору отца. Я окончил Йельский университет в 1915 году, ровно через четверть века после отца. Чуть позже я принимал участие в Первой мировой войне; этим термином принято называть очередное переселение тевтонских племен. Разгром варварских полчищ настолько увлек меня, что по возвращении домой я оказался в некоторой растерянности. Средний Запад, некогда представлявшийся мне уютным центром мироздания, теперь казался задворками Вселенной, поэтому я решил отправиться на Восток и заняться изучением биржевого дела. Все мои знакомые так или иначе были связаны с биржевыми операциями, и я полагал, что маклерство вполне сможет прокормить еще одного одинокого мужчину. На семейном совете мои дядюшки и тетушки долго обсуждали мое решение, словно речь шла о выборе престижной частной школы. Наконец они с мрачным видом нерешительно изрекли нечто вроде:

«Н-ну... да... отчего бы и нет...» Отец согласился в течение года помогать мне материально, и после некоторых проволочек весной 1922 года я отправился на Восток, как мне тогда казалось — навсегда.

Идеальным вариантом было бы найти жилье в городе, но близилось лето, а я только что прибыл из края широких лужаек и тенистых деревьев, так что когда один из моих сослуживцев предложил снять на паях дом в ближайшем пригороде, эта мысль пришлась мне весьма по душе. Он нашел дом — довольно обшарпанное «бунгало» с крытой толем крышей — за восемьдесят долларов в месяц. Однако в самый последний момент фирма откомандировала его в Вашингтон, так что «на лоно природы» я отправился один. Я завел собаку и пробыл ее хозяином всего несколько дней, пока она не сбежала, купил подержанный «додж» и нанял служанку-финку, которая убирала за мной постель и готовила мне завтрак, орудуя у электрической плиты и бормоча что-то, наверное, весьма мудрое, по-фински себе под нос.

Первые пару дней я чувствовал себя одиноким, пока однажды утром у дороги меня не остановил какой-то человек, появившийся здесь позже меня.

— Вы не подскажете, как попасть в поселок Уэст-Эгг? — растерянно спросил он.

Я объяснил ему, и когда зашагал дальше, от моего одиночества не осталось и следа — я чувствовал себя проводником, следопытом, почти аборигеном. Отныне я ощущал себя полноправным обитателем этого местечка.

Солнце пригревало все сильнее, листва распускалась с фантастической быстротой, словно при ускоренной киносъемке, и я почувствовал знакомую с детства уверенность, что летом жизнь начинается заново.

Надо было так много прочитать и не упустить возможности вдоволь надышаться здешним свежим возду-

хом. Я купил дюжину руководств по банковскому делу, кредитным операциям и страхованию капиталовложений. Они стояли на книжной полке, сверкая алыми и золотыми корешками, словно только что отчеканенные монеты, обещая открыть мне заветные тайны, ведомые лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Но я не собирался ограничивать свой круг чтения лишь этими фолиантами. Во время учебы в колледже во мне открылся дар литератора — в течение года я написал для университетской газеты серию весьма напыщенных и вместе с тем довольно тривиальных передовиц. Теперь я хотел возобновить свои литературные опыты и вновь сделаться специалистом узкого профиля, так называемым всесторонне образованным человеком. Это не игра слов и даже не парадокс — ведь в конечном итоге на жизнь лучше всего смотреть из одного-единственного окошка. Так она видится шире и полнее.

Волею случая мне выпало снять дом в одном из наиболее примечательных уголков Северной Америки. Он представляет собой вытянутый, покрытый буйной растительностью остров к востоку от Нью-Йорка, где наряду с другими диковинами природы можно увидеть два необычных геологических образования. В тридцати километрах от города два огромных «яйца», два мыса, имеющих совершенно одинаковые очертания и разделенных небольшой бухточкой, выдаются в самый освоенный и оживленный участок океана в Западном полушарии — в пролив Лонг-Айленд. Оба они — не идеальной овальной формы, поскольку, подобно колумбову яйцу, сплющены в том месте, где стыкуются. Их почти идеальное сходство, должно быть, постоянно сбивает с толку пролетающих над ними чаек. Что же до бескрылых существ, то их глазам предстает куда более удивительное явление — полное несоответствие и разительный контраст во всем, за исключением формы и размера.

Я жил в Уэст-Эгге, в... скажем, менее фешенебельном из двух поселков, хотя этим довольно банальным эпитетом можно лишь поверхностно описать весьма причудливые и даже в какой-то мере жутковатые различия между двумя поселениями. Мой дом располагался у самой оконечности мыса, метрах в пятидесяти от берега. Он каким-то странным образом втиснулся между двумя огромными виллами, сдаваемыми за двенадцатипятнадцать тысяч долларов за сезон. Стоявший справа особняк поражал своими поистине колоссальными размерами. Он представлял собой копию городской ратуши где-нибудь в Нормандии с неизменной угловой башней, сверкавшей новенькой отделкой сквозь довольно жидкую поросль плюща. К нему прилегал выложенный мрамором плавательный бассейн. Все это великолепие окружали шестнадцать гектаров лужаек и садов. Это был особняк Гэтсби. Точнее говоря, поскольку я не знал мистера Гэтсби лично, это была вилла, где жил человек с такой фамилией. В подобном соседстве мой дом выглядел словно бельмо на глазу, но был он таким крохотным, что его просто не замечали. Я же мог наслаждаться морским пейзажем, видом на соседскую лужайку и тешить самолюбие своего рода сопричастностью к миру миллионеров. И все это за восемьдесят долларов в месяц.

На другом берегу бухты сверкали над водой ослепительно белые дворцы обитателей более фешенебельного Ист-Эгга. По сути, история того памятного лета начинается летним вечером, когда я отправился на ужин к семейству Бьюкенен. Дейзи приходилась мне троюродной сестрой, с которой мы давно не виделись, а с Томом мы познакомились в колледже. Сразу после войны я пару дней гостил у них в Чикаго.

Муж Дейзи, помимо своих прочих спортивных достижений, считался одним из самых сильных игроков

крайней линии, когда-либо выступавших за футбольную команду Йельского университета. Он относился к весьма характерному для Америки типу людей, которые к двадцати с лишним годам достигают таких ослепительных высот, что вся их последующая жизнь имеет привкус некоего разочарования. Его семья владела невообразимыми богатствами, и даже в таком привилегированном университете, как Йельский, его манера швыряться деньгами вызывала антипатию. Теперь он перебрался из Чикаго на Восток с размахом, от которого дух захватывало: например, он перевез из Лейк-Фореста целое стадо пони для игры в поло. У меня в голове не укладывалось, как мой, в общем-то, ровесник может тратить деньги на подобные капризы.

Я не знаю, почему они обосновались на Востоке. Они прожили год во Франции без каких-либо веских на то причин, а затем принялись колесить по миру, ненадолго задерживаясь там, где можно поиграть в поло и побыть в кругу «своих». На сей раз они решили прочно осесть в одном месте, как сказала мне Дейзи по телефону, однако я не очень-то этому поверил. Я, конечно, не мог знать, что действительно у Дейзи на уме, но мне казалось, что Том вечно будет кочевать с места на место, подсознательно тоскуя по острым ощущениям, которые испытываешь, одерживая победу в футбольном матче, который поначалу казался безнадежно проигранным.

И вот теплым, но ветреным вечером я отправился в Ист-Эгг, чтобы повидать двух старых друзей, которых почти не знал. Их дом выглядел еще более импозантно, чем я ожидал. Это был яркий, красный с белым особняк в георгианском колониальном стиле с видом на залив. Лужайка начиналась у самого берега и простиралась метров на четыреста до парадного входа, перепрыгивая на своем пути через солнечные часы, пешеходные

дорожки, посыпанные кирпичной крошкой, и пылающие всеми оттенками радуги цветники. У самого дома она как будто взмывала ввысь по вившимся вдоль стен виноградным лозам, словно они являлись ее продолжением. Фасад украшал ряд французских окон, открытых навстречу теплому ветру и сиявших отраженным золотом предзакатного солнца. А у парадной двери, широко расставив ноги, красовался Том Бьюкенен в костюме для верховой езды.

Он сильно изменился со студенческих времен. Передо мной стоял крепкий тридцатилетний мужчина с соломенного цвета волосами, прямой линией губ и высокомерными манерами. На его лице особо выделялись глаза: их сверкающий дерзкий взгляд придавал ему властности, и казалось, что его обладатель все время угрожающе подается вперед. Даже изящный покрой костюма для верховой езды не мог скрыть его огромную физическую силу. Казалось, что ему жмут в икрах до блеска начищенные сапоги, что шнуровка вот-вот разойдется. Стоило ему слегка повести плечом, как под тонкой материей начинали играть тугие мышцы. Его тело обладало чудовищной силой, вызывавшей подсознательный страх.

Он говорил несколько хриловатым тенором, что дополняло впечатление, которое он производил — капризного богатея. В его голосе всегда звучала этакая отеческая полупрезрительная снисходительность, даже в дружеских разговорах. А ведь в Йеле были люди, которые ненавидели его до глубины души.

Казалось, он хочет сказать нечто вроде: «Ладно, не считайте мое мнение по этому вопросу истиной в последней инстанции просто оттого, что я сильнее вас и вообще я вам не ровня». На старших курсах мы входили в одно общество, и хотя особо не дружили, у меня создалось впечатление, что он относился ко мне бла-

гожелательно и очень хотел по-своему, с присущей ему дерзостью, понравиться мне.

Мы немного поговорили, стоя на залитом солнцем крыльце.

— Неплохо у меня тут, — произнес Том, стреляя глазами по сторонам, и плавным движением ладони обвел открывавшийся с крыльца вид.

Моему взору предстали ухоженный ступенчатый сад в итальянском стиле, примерно четверть гектара благоухающих роз и тупоносый катер, покачивавшийся на волнах прибоя.

— В свое время это принадлежало нефтяному магнату Демейну. — Он повернул меня к двери, вежливо, но как-то очень резко. — Идем-ка в дом.

Мы прошли через огромный холл и очутились в одном из внутренних покоев, отделанном в светло-розовых тонах, который, казалось, держался лишь на располагавшихся справа и слева французских окнах. Они были приоткрыты и сияли белизной на фоне сочно-зеленой травы, как будто пытавшейся вползти в дом. По комнате гулял легкий ветерок, играя занавесками, походившими на какие-то бледные флаги, то выдувая их наружу, то втягивая внутрь, то подбрасывая вверх к потолку с лепниной, напоминающему свадебный торт, покрытый глазурью. По темно-вишневому ковру метались тени, словно рябь по водной глади.

Единственным неподвижным предметом в комнате была огромная тахта, на которой, как на привязанном к мачте воздушном шаре, расположились две молодые женщины. Обе они были в белом, и их платья развевались, словно они только что приземлились после недолгого полета по дому. Я, наверное, застыл на несколько мгновений, просто слушая, как выются и хлопают занавески и тихонько поскрипывает картина на стене. Том Бьюкенен с громким стуком закрыл окна в задней ча-